

ПОЭМА

*Бема
Ахмадулина*



Моя родословная

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, ещё не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный её счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот – ещё не существующий ребёнок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану уцерб. Но всё же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придёт к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чьё доброе влияние навсегда определило её судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжко терпевший своё казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

Любимой нашей поэтессе Белле Ахмадулиной
в этом году исполнилось 70 лет.

Не будем перечислять её замечательные книги и заслуженные лауреатские звания, цитировать восхищённые высказывания о ней, скажем лишь одно: у казанцев к Белле Ахмадулиной отношение особое, ведь корни её родословной находятся в нашем городе. Мы поздравляем Беллу Ахатовну с юбилеем и печатаем поэму «Моя родословная»

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль – их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитною звездой –
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнётся, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
– Чур,чур!
Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! –
Я говорю:
– Я – нечто.
Я – чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри
воздух?

Возражение Игрека:
– Не дождёшься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,

худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в типе разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной её белейшей
на кладбище роковом.

(Примечание автора:
Между прочим, я дождусь,
в чём торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом,
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

– Помолчи. Я – вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то – есть, а нет – тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха,
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, прапра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я – искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» – и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он – так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, Бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернётся через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но Боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик –
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он – шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:
В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора –
тяжесть кармана.
Здравствуй, музыка
и обезьяна!



Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала – гения,
вышло – шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой – невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Лю-uchia!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой –
но некогда в российское село –
ура, ура! – шут прибыл италийский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманцику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц,
что он – о, ужас! – в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведёт меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Ещё мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, –
рожусь ли? – всё игра орла и решки, –
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я – тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск выдан –
всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остаётся мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж – пускай он по задворкам ходит.
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.



Он в узкоглазом племени своём
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шёл, черно кося зрачком,
большой ноздрей принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живёт нигде, но рядом
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет жёлтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усечённой полумглой зрачка
всё ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:
Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил её в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших, я,
как птиц, целовал на лету.
Семью семь её чёрных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле – пахарь, а в воинстве – воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых – прав навеки,
кто волен, средь умерших – бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в её ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясёт бородой шурале.

Меж тем шарманщик странно поражён
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи –
две барышни, чья маленькая повесть
печальная, осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца тёмная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюблённая корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую – Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупой да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:
«Справка выдана в том...»
О, как гром в этот дом
бьёт огнём и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.
О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти чёрный пробел –
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда –
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьёзной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века –

мерцает лбом тщеславный гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведёт себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
– Прекрасен человек, принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живёт инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вкруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его желание
движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зелёного побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:
– Всем, кто бунты разжигал, –
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, –
всем ответчу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, –
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, –
я их всех тюрьмой порадую
и засов задвину сам.
В чём клянусь верностью государю императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней – и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведёт на нет.

(Примечание автора:
Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны
копеечки не дал.)

– Знают люди, знают дети:
я – бессмертен. Я – жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность –
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведёт себя земля
уже в пределах нового столетья,

и в май маёвок бабушка моя
несёт двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» – «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждёт чего-то.

В какую даль теперь её везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берёт на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстился,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле её лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждет. И ей – то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьёт по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рёв сильных широт
отворённой гортани!
Как в красных
и предельных объёмах шаров –
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом –
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, –
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идёт,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на остриё пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дует апрель, насытивший скворешник, –
нацеленный в меня, прости ей, гром! –
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.
А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперёд и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат –
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечёт азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я – скоро. Но покуда нет меня.
Я – где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат – и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом – и предстать в её проёме.

Ужо рожусь! Ещё не рождена.
Ещё не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я – вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!

Ещё не знает речи голос мой,
ещё не сбылся в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотой труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр,
тот бой меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерождённым и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей её в ней погребённых.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребёнок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:
О, нечто, крошка, пустота,
ещё не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспряmlённый организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я – умник, много лет проживший, –

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься – что же, в том
всё ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там – во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(Примечание автора:
Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, –
всей музыкой озвучен пульс,
прямо позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведённый кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьёт
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, всё дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелю с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет –
одну-единственную пользу!)
– Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь. Да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.
Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра –
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец? Но, среди всех затей,
любой наш год – утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, ожёгший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка –
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом – воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что ещё вам сказать?
Я не знаю.
И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала всё это Ахмадулина
Белла Ахатовна.
Год рождения – 1937. Место рождения –
город Москва.

